# 196.

**А. И. Тургеневу**

*1 февраля 1815 г. <Москва>*

1815. Февраля 1е

Ответ на *все* твои письма. Наконец имею свободную минуту и могу с тобою говорить на просторе. За твои хлопоты о моем Послании не нужно мне, кажется, благодарить. Чувствую по себе, как тебе это весело. И ничто меня так не радует, как то, что ты был *чтецом* моего Послания1. Слава, доброе дело, а слава из рук друга есть сокровище. Эта слава есть счастье, и в ней, право, самолюбие мало участвует. Она напоминает о любви, о товариществе и приобретается лучшими наслаждениями, то есть уединенным трудом, который успокоивает и возвышает душу. Такая слава есть награда всего *доброго*. А я себе часто говорю (не знаю, буду ли в состоянии исполнить): живи, как пишешь! То есть и в том, и другом одинакая цель и одинакое совершенство. Чтобы *человек моральный* не был несходен *с человеком с талантом*. Самые замечаемые мною ошибки и замечаемые другими ошибки в том, что я написал, только пробуждают во мне надежду написать что-нибудь лучшее, а нимало не отымают у меня бодрости. Думая о тех немногих людях, которые меня любят и мною радуются, я сам радуюсь, что имею талант, и мысль об них ободряет меня. Если вы не даете мне

счастья вашею дружбою, то часто, часто заставляете забывать тяжелое горе, тем более тяжелое, что оно скрытное и нередко бывает самое унизительное. Мне часто бывает нужна помощь извне и от руки милой, чтобы о себе вспомнить и не совсем упасть духом. Ты спрашиваешь у меня в одном письме, что причиною возобновившейся во мне надежды? Брат, я говорил не об надежде. Впереди не вижу для себя ничего доброго. То, что мне нужно, едва ли когда сбудется. Жаль,

что мы не вместе: на письме всего не скажешь, а сказать бы *всё* надобно. Прошедший год был для меня весьма бурный. Ты уже знаешь, что я писал к Арбеневой, вообразив, что она, имея влияние на образ мыслей матери, может склонить ее на мою сторону. В этом я ошибся. Она сперва воспламенилась было весьма сильно. Потом монах всё расстроил, испугал ее Богом и чертом, и она написала к матери *против меня*2. Это произвело между нею и мною объяснение, и мы было расстались. Воейков вошел в семью, а я из нее вышел. Я писал к матери3 несколько раз и наконец требовал, чтобы, если уже не может всего сделать, по крайней мере сделала бы всё, что в ее власти, что я отказываюсь от всякого требования, несогласного с ее образом мыслей, с тем только, чтобы мы были вместе4, чтобы я пользовался полною доверенностью, мог быть счастлив

*в семье*, не был розно с *нею*, напротив, имел бы всю возможную с нею свободу, не был принужден ничего таить, тем более что ей (то есть матери) известно всё, и что большего, при полной доверенности, она бояться не может. Это обещание, как ни трудно, я мог бы исполнить. Я люблю Машу (с тобою можно дать

ей это имя), как жизнь. Видеть ее и делить ее спокойное счастье есть для меня всё, и для нее также. Но характер матери не таков. Она не может возвыситься до этой чистой, благородной доверенности, на которую и я, и Маша имели бы полное право, если бы только не принуждены были беспрестанно скрывать того,

что у нас в душе. Одним словом, мать согласилась, чтобы мы опять были вместе; но тех условий, на которых это *вместе* было бы для нас счастьем, она не держит и едва ли способна сдержать. Брат, мы живем *вместе*, а между нами бездна недоверчивости. Христианство (по ее словам) заставляет ее отказать нам в нашем счастье; а того, что составляет характер христианки, она не имеет, той любви, которая заботится о чужой судьбе, как о собственной. Каждая минута напоминает мне только о том, чего я лишен, и нет никакого вознаграждения. На нашу потерю смотрит она холодными глазами эгоизма. Нет никакой отрады. Мы не можем подойти друг к другу свободно. Это положение ужасно, а вый ти из него нет силы. Боже мой! Я не могу хотеть и искать своего отдельного счастья. С вами, с друзьями сердца, с верными товарищами жизни, я был бы счастлив: то есть и уважал, и делился бы всем, что есть хорошего в душе, без всякого принуждения; не было бы ужасной, противной сердцу необходимости носить на лице маску, — словом, я был бы с вами *я*; но я не могу и не хочу на это решиться. Лучше страдать и погибнуть вместе, нежели искать своего счастья. И может ли быть для меня *свое* счастье? Я бы себя возненавидел и рад бы разбить себе голову первою пулею, если бы мог быть на это способен. Теперь вопрос: что же будет с нами, с нею и со мною? Дойти ко гробу дорогою печали. Более ничего! Сердце рвется, когда воображу, какого счастья меня лишают, и с какою жестокою, нечувствительною холодностью. Хотя бы показали, что им жаль разрушать это счастье! Но его топчут ногами и смеются, и еще думают, что угождают Богу! В иные минуты мне жаль своих старых *надежд на смерть*. Я об ней думал с наслаждением; теперь и того себе не позволяю. Это была бы неблагодарность за любовь, которую ангел ко мне имеет. Эта любовь самая чистая, без всякой примеси низкого; ее никто понять не может, а она была бы счастьем, когда бы эгоизм не отравлял ее ежеминутными оскорблениями. Об Воейкове я писал к тебе в дурную минуту. Не имей об нем дурных мыслей. Он любит меня, и я этому верю, и мне нужно верить — мы будем жить вместе. А думать одно и показывать в поступках другое не могу; следовательно, верю ему и хочу верить.

Он мне большая подпора. То, что ты назвал моими новыми надеждами, состояло в том, что мать опять позволила мне жить вместе и что я вообразил, что она будет поступать с нами так, как я этого желал. Первые дни были довольно хороши, и я надеялся, что в будущем еще лучшее мне готовится. После этих дней *все* они уехали в Тамбов, а я остался в Белеве и прожил почти один — с милыми немногими людьми, с которыми душа свободна и которые во всем *моем* берут участие. Эти два месяца были самые спокойные. Их оживляла надежда на лучшее, и я написал много, столько, сколько не писал никогда5. Они возвратились, и принужденность опять возвратилась. И теперь едва ли я не уверен, что старое (то есть унижение, одинокая горесть, принужденность быть вместе и всякую минуту чувствовать, что мы розно, и еще тысяча подобных тяжелых горестей), словом, ужасное *старое* будет *по-старому*. Вот с какими надеждами еду в Дерпт, и там уже точно не будет ни в чем отрады, кроме одной мысли, что я с нею, что нам одна судьба и что я должен и могу эту судьбу считать как за испытание, как за средство быть лучшим. Такая мысль в иные минуты ободряет. Но часто душа разорвана в клочки. И рвут ее с такою холодностью, которая меня иногда выводит из себя. Всё, что я здесь написал, не даст тебе полного понятия об моем положении; но что-нибудь ты понять можешь. По крайней мере, можешь понять, что я несчастлив, и самым убийственным образом. То, что мне дает тень надежды, кажется мне самому химерою сумасшедшего. Мне кажется иногда, что государыня, которая уже что-то обо мне знает, могла бы дать нам счастье. Но вероятно ли, чтобы так могла она заняться моею судьбою? А здесь нужна осторожность. Матери самой уже известно, что государыня знает обо мне. Она сочтет за особенное для себя достоинство отказать и государю на его требование, если бы и

он вступился. Но и мне как желать принужденного согласия? Я знаю характер Маши. Она была бы несчастлива. Что же за польза из одной бездны перевести ее в другую и еще быть самому причиною ее страдания?6

Надобно бы действовать на мнение матери: опровержение предрассудка, приходящее с трона, было бы весьма убедительно. Если бы подкрепить его мнением какого-нибудь из наших святителей и архипастырей и прочее и прочее, тогда бы нечего было говорить, и совесть бы замолчала. Вот в чем дело. Я ей брат, то есть брат матери; но закон не дал мне этого имени. Закон письменнный противится бракам между родными; но родства в натуре нет. Та же религия представляет этому примеры: Авраам женат был на родной сестре, а он предок Мессии, следовательно его брак *по натуре* не есть преступление. *Натура и Бог не противятся этому браку*; противится ему один закон человеческий; но, чтобы закон человеч<еский> ему противился, надобно, чтобы закон его и определил. Закон не назвал меня ее братом, следовательно подхожу под один закон натуры; а он не против меня. Лютеранская же религия и римско-католическая разрешают браки и между родными, наименованными самим законом общественным. Вот тебе канва моих мыслей об этом предмете. Если бы могли это растолковать матери с трона, если бы это было подтверждено каким-нибудь голосом, идущим из-под рясы, тогда бы она могла и сама согласиться, тем более что она не имеет никаких ясных и определенных понятий, а действует по какому-то жестокому побуждению фанатизма. Вообрази, брат, как бы я был счастлив; подумай о всей будущей жизни моей. Подумай, что для меня уже теперь ничто не переменится и что я не могу думать об отдельном своем счастье, которого для меня быть не может, и сделай всё, что можешь.

Как мне жаль, что я в проезде мой в Дерпт с тобою не увижусь. Но буду непременно в Петербурге в марте или в начале апреля. *Все они*7 уехали уже в Дерпт, а я остался еще дней на 10 в Москве. Не заеду в Петербург теперь оттого, что хочу скорее их увидеть и узнать, каково они доехали. Я отпустил их не совсем здоровых. Но в марте буду у тебя непременно. Ты между тем думай обо мне. Если можно, представь мое положение государыне в настоящем его виде. Может быть, дерптская жизнь моя будет лучше, нежели как я себе ее представляю. Но если она будет такова, какою мне видится в иные минуты, то и я, и Маша пропадаем. Прощай тогда и талант, и слава! Хорошо, когда бы можно было сказать, без неблагодарности: прощай и жизнь! Так и быть! Поверяю судьбу свою дружбе.

Пора кончить. Это письмо покажи Блудову. Он имеет на него право. Я еще ему не отвечал на его письмо, право, не от лени. Я благодарю его за это письмо, как за подарок. Оно обрадовало меня и *ободрило* (c’est le mot[[1]](#footnote-2)). Уважение к другу

есть счастье и дает привязанность к жизни. Люблю его более, нежели когда-нибудь, и с каким-то новым чувством. Но об этом скажу ему самому.

При отъезде своем из Москвы пошлю к тебе полное собрание своих стихов, переписанное мною для печати. Но их не начинай печатать до свидания со мною. Многое надобно поправить вместе и вместе распорядить.

Поправки Послания пришлю с следующей почтой. Вы уже получили некоторые. В нем много недостатков, но всего и поправлять не нужно. Лучше написать что-нибудь новое. Тебе я на свой счет не верю: ты слишком уже восхищаешься моим soit disant[[2]](#footnote-3) гением. «Певца»8 я написал почти совсем и дописал бы, когда бы не помешала зубная боль. Но я им не весьма доволен. Кончу, однако; но когда, не знаю. Пришлю его из Дерпта.

Прошу тебя поблагодарить от меня Юрия Александровича9 за его ко мне благосклонность. Буду к нему писать сам, но теперь некогда.

Дашкова обнимаю. Я ему должен письмом.

На это письмо не отвечай мне, пока не получишь от меня письма из Дерпта. Здесь твой ответ меня не застанет, а в Дерпте он не должен меня ждать, потому что без меня могут его прочитать те, которым он не должен быть известен. И вообще, во всех твоих письмах всё, что касается особенно до меня, пиши на особой странице.

Прости. Уведомь, что вы *придумали* с Уваровым10. Если государыне угодно, чтобы Послание было напечатано в мою пользу, то я очень этому рад. Постарайся об моем кармане. Мои все доходы улетели к черту, и я теперь никаких, кроме своих пяти пальцев, не имею в виду. Надежда на издание моих стихов.

1. Иначе не назовешь (*франц*.). [↑](#footnote-ref-2)
2. Так называемым (*франц*.). [↑](#footnote-ref-3)